



Памятники исторической литературы



Георгий Соломон

СРЕДИ КРАСНЫХ
ВОЖДЕЙ

Георгий Соломон

Среди красных вождей

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Соломон Г.

Среди красных вождей / Г. Соломон — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого. В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей. Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории. Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок. Русский социал-демократ, меньшевик Г. А. Соломон (1868–1942) был выходцем из дворянской семьи Исецких. Блестящий, наблюдательный ум, врожденное чувство справедливости не позволили Соломону оставаться в рядах большевиков, только декларирующих свои убеждения. По свидетельствам автора, они не гнушались ни коррупцией, ни аморальности. Наглое, бесцеремонное поведение вождей люмпен-пролетарских масс — главная тема книги.

© Соломон Г.

© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

От издателя	5
Том 1	6
Введение	6
Часть первая	20
I	20
II	25
III	31
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Георгий Александрович Соломон (Исецкий) Среди красных вождей

От издателя

«Памятники исторической литературы» – новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.

В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей.

Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.

Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.

Пробудить живой интерес к истории, научить соотносить события прошлого и настоящего, открыть забытые имена, расширить исторический кругозор у читателей – вот миссия, которую несет читателям книжная серия «Памятники исторической литературы».

Читатели «Памятников исторической литературы» смогут прочесть произведения таких выдающихся российских и зарубежных историков и литераторов, как К. Биркин, К. Валишевский, Н. Гейнце, Н. Карамзин, Карл фон Клаузевиц, В. Ключевский, Д. Мережковский, Г. Сенкевич, С. Соловьев, Ф. Шиллер и др.

Книги этой серии будут полезны и интересны не только историкам, но и тем, кто любит читать исторические произведения, желает заполнить пробелы в знаниях или только собирается углубиться в изучение истории.

Том 1

Введение

...Я принимал довольно деятельное участие в февральской революции 1917 года. В мае того же года я по личным делам уехал в Стокгольм, где обстоятельства задержали меня надолго. В начале ноября 1917 года произошёл большевистский переворот. Я не был ни участником, ни свидетелем его, всё ещё находясь в Стокгольме. Там я сравнительно часто встречался с Воровским, который был в Стокгольме директором отделения русского акционерного общества «Сименс и Шуккерт», во главе которого в Петербурге стоял покойный Л.Б. Красин. В то время Воровский очень ухаживал за мной, частенько эксплуатируя мою дружбу с Красиным и моё некоторое влияние на него, для устройства разных своих личных служебных делишек...

В первые же дни после большевистского переворота, Воровский, встретясь со мной, сообщил мне с глубокой иронией, что я могу его поздравить, он, дескать, назначен «советским посланником в Швеции». Он не верил, по его словам, ни в прочность этого захвата большевиками власти, ни в способность большевиков сделать что-нибудь путное, и считал всё это дело нелепой авантюрой, на которой большевики «обломают свои зубы». Он всячески вышучивал своё назначение и в доказательство несерьёзности его обратил моё внимание на то, что большевики, сделав его посланником, не подумали о том, чтобы дать ему денег.

— Ну, знаете ли, — сказал он, — это просто водевиль, и я не хочу быть опереточным посланником опереточного правительства!..

И он продолжал оставаться на службе у «Сименс и Шуккерт», выдавая в то же время визы на въезд в Россию. Через некоторое время он опять встретился со мной и со злой иронией стал уверять меня, что большевистская авантюра, в сущности, уже кончилась, как этого и следовало ожидать, ибо «где же Ленину, этому беспочвенному фантазёру, сделать что-нибудь положительное... разрушить он может, это легко, но творить — это ему не дано...» Те же разговоры он вёл и с представителями посольства временного правительства (Керенского)... Но я оставляю Воровского с тем, что ещё вернусь к нему, так как он является интересным и, пожалуй, типичным представителем обычных советских деятелей, ни во что, в сущности, не верующих, надо всем издевающихся и преследующих, за немногими исключениями, лишь маленькие личные цели карьеры и обогащения.

Слухи из России приходили путанные и тёмные, почему я в начале декабря решил лично повидать всё, что там творится. И, взяв у Воровского визу, поехал в Петербург. Случайно с тем же поездом в Петербург-же ехал директор стокгольмского банка Ашберг, который, стремясь ковать железо, пока горячо, вёз с собой целый проект организации кооперативного банка в России. Он познакомил меня дорогой с этим проектом. Идея казалась мне весьма целесообразной для данного момента, о котором я мог судить лишь по газетным сведениям.

Мы прибыли в Петербург около двух часов ночи. Улицы были пустынные, кое-где скупо освещены. Редкие прохожие робко жались к стенам домов.

Извозчик, вёзший меня, на мои вопросы отвечал неохотно и как то пугливо.

— Да, конечно, вяло сказал он в ответ на мой вопрос, — обещают новые правители сейчас же созвать Учредительное Собрание... Ну, а в народе идёт молва, что это так только нарочно говорят, чтобы перетянуть народ на свою сторону.

На утро я поехал повидать Красина в его бюро.

— Зачем нелёгкая принесла тебя сюда? — Таким вопросом, вместо дружеского приветствия встретил он моё появление в его кабинете..

И много грустного и тяжёлого узнал я от него.

– Ты спрашиваешь, что это такое? Это, милый мой, ставка на немедленный социализм, то есть, утопия, доведённая до геркулесовых столбов глупости! Нет, ты подумай только, они все с ума сошли с Лениным вместе! Забыто всё, что проповедывали социал-демократы, забыты законы естественной эволюции, забыты все наши нападки и предостережения от попыток творить социалистические эксперименты в современных условиях, наши указания об опасности их для народа, всё, всё забыто!

Людьми овладело форменное безумие: ломают всё, всё реквизируют, а товары гниют, промышленность останавливается, на заводах царят комитеты из невежественных рабочих, которые, ничего не понимая, решают все технические, экономические и, чорт знает, какие вопросы! На моих заводах тоже комитеты из рабочих. И вот, изволишь ли видеть, они не разрешают пускать в ход некоторые машины... «Не надо, ладно и без них!»... А Ленин... да, впрочем, ты увидишь его: он стал совсем невменяем, это один сплошной бред! И это ставка не только на социализм в России, нет, но и на **мировую революцию** под тем же углом социализма! Ну, остальные, которые около него, ходят перед ним на задних лапках, слова поперёк не смеют сказать и, в сущности, мы дожили до самого форменного самодержавия»...

После Красина я поехал к одному моему старому другу и товарищу, тоже, если так можно выразиться, «классическому» (Я употребляю этот термин в отношении тех, кто принял большевизм после раскола на лондонском съезде в 1902 году, когда сформировалась большевистская фракция социал-демократической партии и когда, в сущности, большевизм отличался от меньшевизма лишь в отношении тактики. К этому течению тогда же примкнули и Красин, и я. – **Автор.**) большевику, который не принял «необольшевизма» или «ленинизма» и, верный своим взглядам, не пошёл на службу к большевикам, почему я и не назову его по имени, обозначив его лишь буквой Х. Он встретил меня печально и подтвердил слова Красина, и будучи хорошим теоретиком, значительно шире развил те же положения. Как революционер, Х. был горячий и безумно смелый. Мы с ним вместе работали в революции 1905 года, вместе были на баррикадах и пр. И вот он то, такой увлекающийся и в то же время такой сильный теоретик большевизма, но остававшийся всё время на почве строгого учения Маркса, чуждого всякого авантюризма и базирующего на естественной эволюции, подверг ожесточённой и уничтожающей критике «ленинизм».

– ...Я не пророк, – сказал он, – но у меня нет ни малейшего сомнения в том, что они обратят несчастную Россию в страну нищих с царящим в ней иностранным капиталом...

Следующее моё свидание было с Лениным и другими моими старыми товарищами (как Елизаров, Луначарский, Шлихтер и др.) в Смольном институте, месте, где тогда происходили заседания Совета Народных Комиссаров.

Беседа с Лениным произвела на меня самое удручающее впечатление. Это был сплошной максималистский бред.

– Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу, – сказал я, – что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров «Утопия», только в колоссальном размере? Я ничего не понимаю...

– Никакого острова Утопии здесь нет, – резко ответил он тоном очень властным. – Дело идёт о создании социалистического государства... Отныне Россия будет первым государством с осуществлённым в ней социалистическим строем... А!.. вы пожимаете плечами! Ну, так вот, удивляйтесь ещё больше! Дело не в России, на неё, господа хорошие, мне наплевать, – это только этап, через который мы проходим к **мировой революции!**..

Я невольно улыбнулся. Он скосил на меня свои маленькие узкие глаза монгольского типа с горевшим в них злым ироническим огоньком и сказал:

– А вы улыбаетесь! Дескать, всё это бесплодные фантазии. Я знаю, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, избитых, **якобы**, марксистских, а, в сущности, буржуазно-меньшевистских нелужностей, от которых вы не в силах отойти даже на расстояние

куриного носа... Впрочем, – прервал он вдруг самого себя, – мне товарищ Воровский писал о ваших беседах с ним в Стокгольме, о том, что вы называли всё это фантазиями и пр. (Напомню читателю, что именно Воровский говорил мне в Стокгольме. – **Автор.**).

– Нет, нет, мы уже прошли мимо всего этого, всё это осталось позади... Это чисто марксистское миндальничанье! Мы отбросили всё это, как неизбежные детские болезни, который переживает и общество, и класс, и с которыми они расстаются, видя на горизонте новую зарю... И не думайте мне возражать! – вскрикнул он, замахав на меня руками. – Это ни к чему! Меня, вам и Красину с его постепенством или, что то же самое, с его «естественной эволюцией», господа хорошие, не переубедить! Мы забираем и заберём как можно левее!!..

Улучив минуту, когда он на миг смолк, точно захлебнувшись своими собственными словами, я поспешил возразить ему:

– Всё это очень хорошо. Допустим, что вы дойдёте до самого, что называется, левейшего угла... Но вы забываете закон реакции, этот чисто механически закон... Ведь вы откатитесь по этому закону, чорт его знает куда!..

– И прекрасно! – воскликнул он. – Прекрасно, пусть так, но в таком случае, это говорит за то, что надо ещё левее забирать! Это вода на мою же мельницу!..

Среди этой беседы я упомянул о предстоявшем созыве Учредительного Собрания. Он хитро прищурил свои маленькие глазки, лукаво посмотрел на меня и как то задорно свистнул:

– Ну, знаете, это тема такая, что я сейчас не хочу ещё говорить о ней... Скажу только, что «учредилка» – это тоже старая сказка, с которой вы зря носитесь. Мы, в сущности, прошли уже мимо этого этапа... Ну, да впрочем, посмотрим... Мы обещали... а там посмотрим... посмотрим... Во всяком случае никакие «учредилки» не вышибут нас с нашей позиции. Нет!..

Беседа наша затянулась. Я не буду воспроизводить её целиком, а только даю лёгкий абрис её.

– Так вот, – закончил Ленин, идите к нам и с нами, и вы, и Никитич (Партийная кличка Красина. – **Автор.**). И не нам, старым революционерам, бояться и этого эксперимента, и закона реакции. Мы будем бороться также и с ним, с этим законом!.. – И мы победим! Мы всколыхнём весь мир... За нами пролетариат!.. – закончил он, как на митинге.

Мы расстались. Затем тут же я повидался со старыми товарищами – Луначарским, Елизаровым (мужем сестры Ленина), Шлихтером, Коллонтай, Бонч-Бруевичем и др. Из разговоров со всеми ими, за исключением Елизарова, я убедился, что все они, искренно или неискренно, прочно стали на платформу «социалистической России», как базы и средства для создания «мировой социалистической революции». И все они боялись слово пикнуть перед Лениным.

Один только мой старый друг, Марк Тимофеевич Елизаров, стоял особняком.

– Что, небось, Володя (Ленин) загонял вас своей мировой революцией? – сказал он мне. – Чорт знает, что такое!.. Ведь умный человек, а такую чушь порет!.. Чертям тошно!

– А вы что тут делаете, Марк Тимофеевич? – спросил я, зная, что он человек очень рассудительный, не склонный к утопиям.

– Да вот, – как то сконфуженно ответил он, – Володя и Аня (его жена, сестра Ленина) уговорили меня... попросту заставили... Я у них министром путей сообщения, то есть, Народным Комиссаром Путей Сообщения, – поправился он... Не думайте, что я своей охотой залез туда: заставили... Ну, да это ненадолго, уйду я от них. У меня своё дело, страховое, тут я готов работать... А весь этот Совнарком с его бреднями о мировой социалистической революции... да ну его к бесу!.. – и он сердито отмахнулся.

Я говорил с ним о проекте Ашберга, изложив ему сущность его в общих чертах.

– Конечно, – сказал он, – сама по себе идея очень хороша, слов нет. Но разве наши поймут это! Ведь теперь ставка на национализацию всего. Скажут, что нам не нужны никакие банки, что все они должны быть национализированы... Впрочем, я попытаюсь поговорить с

Володей, хотя и не надеюсь на успех... Право, они все вместе с Володей просто с ума сошли (Отмечу, что некогда я был очень близок с семьёй Ленина и в частности с покойным М.Т. Елизаровым, мужем Анны Ильинишны Ульяновой, с которым я находился в дружественных отношениях, потому то он и говорил со мной так откровенно. – **Автор.**). Спорить с ним бесполезно – он сразу обрывает всякие возражения шумом оскорбительных выпадов... Право, мне иногда кажется, между нами говоря, что он не совсем нормален... Ведь, как умный человек, он не может и сам не чувствовать всю неустойчивость обоснования всех своих идей... но вот именно, потому-то он и отругивается... Словом, творится ахинея в сто процентов... Ну, да впрочем, всякому ясно, что вся эта затея осуждена на полное фиаско, и я лично жду провала со дня на день...

В тот же день Елизаров переговорил с Лениным. Долго его убеждал, но тщетно. Выйдя из кабинета Ленина, он сказал мне, безнадежно махнув рукой:

– Ну, конечно, как я и предвидел, Володя и прочие ничего не поняли. «Какой такой кооперативный банк! Зачем пускать капиталистов, этих акул, этих грабителей пролетариата!» и пр. и пр. в таком же бредовом духе. «Нам не нужны частные кооперативы, мы сами, мол, кооперация»... Попытался я урезонить Володю. Но он только посмеялся над вашим проектом... «Знаю, говорит, знаю, конечно, Соломон не может не лелеять разные буржуазные проекты, как и его друг Никитич, падкий до спекуляций... Пошли их обоих к чорту – они два сапога пара»... Мне удалось только заручиться его обещанием ещё подумать, и завтра Меньжинский передаст вам и Ашбергу окончательный ответ...

Тут же я встретился и с Меньжинским, моим старым и близким товарищем, который был заместителем народного комиссара финансов, ибо настоящего почему-то не было назначено. Поговорил с ним. Он как то вяло и точно неохотно подавал реплики и был, чем то удручён. Мы сговорились с ними, что на завтра в час дня он примет нас с Ашбергом и даст ответ. Но и он сказал, что не сомневается, что ответ будет отрицательный.

– Что делать, – пожал он плечами, – ведь у нас ставка на социализм...

Повидавшись ещё кое с кем из старых товарищей, я вышел из Смольного института. Меня снова охватила мрачная, пришибленная улица, робко жмущаяся, настороженная... Все или почти все магазины были реквизированы. Поражало то, что они были полны товаров, в которых так нуждалось население. Товары, аккуратно сложенные на полках, были видны через окна. Стояли часовые... Жители же должны были покупать провизию, главным образом из под полы... Поражала эта нелепость... Впрочем, мне как то объяснил её один рабочий, партийный человек, находившийся на ответственном посту:

– А, – сказал он на мой недоумённый вопрос, – вы говорите, товары лежат в лавках... Ну, что же, дело в том, что очень много хлопот у нас. Вот реквизируют товары, ну, а потом забудут о них... они и портятся... Ничего не поделаешь... лес рубят, щепки летят...

К вечеру во многих местах зажигались костры, у которых с шутками и смехом, а по временам и с ворчаньем и руганью, грелись и топтались солдаты, матросы и вооружённые рабочие. Озираясь и обходя, как можно дальше, эти костры, брели какие то смутные, при отсутствии освещения, фигуры... Откуда-то, со стороны предместий, всё время доносились глухие, то одиночные, то небольшими залпами, выстрелы... какой-то гул, отдалённые крики, виднелось по временам зарево... Это рабочие, солдаты и матросы громили, а подчас и поджигали винные склады и погреба, разбивали бочки, бутылки, напивались, лили вино на землю... Их отражали оружием, происходили целые стычки...

На другой день мы с Ашбергом были у Меньжинского в доме министерства финансов. Роскошное здание было пусто. Как известно, все чиновники всех учреждений, в виде протеста против большевиков, саботировали. Громадные комнаты стояли запущенные, пустые. Молодцеватые курьеры, не примкнувшие к саботажникам, бродили, как осенние мухи. Чувствовалось, что живой дух отлетел из учреждения.

Меньжинский принял нас в роскошном министерском кабинете. Казалось, что в нём ещё витал дух Витте.

Разговор с Ашбергом был очень краток. Меньжинский сказал ему, что беседовал с Совнаркомом по поводу его проекта, который был найден очень интересным. Но сейчас новое правительство занято более серьёзными вопросами самоконструирования и поэтому ему некогда заняться этим, сравнительно второстепенным, вопросом.

Когда Амберг ушёл и мы остались вдвоём, Меньжинский сообщил мне, что Ленин очень недружелюбно относится ко мне, что Воровский прислал ему с курьером письмо, в котором аттестует меня, как человека, не принимающего советского строя, подвергающего его резкой и озлобленной критике, высмеивающего и вышучивающего его. Он предостерегал Ленина от меня, как от спекулянта и высказывал подозрение, что я не чужд больших симпатий к немцам.

– Впрочем, это, конечно, неважно, – добавил Меньжинский. – Но, вообще говоря, вам следует очень остерегаться Воровского: он питает к вам мелкую и какую-то неутолимую злобу... Ну, да об этом когда-нибудь в другой раз... А теперь я хотел бы сделать вам одно предложение. Ведь вы несколько лет служили в крупном банке. Вы видите, что сейчас, благодаря саботажу, во всех учреждениях никто не работает. В частности, у нас нет директора государственного банка. Вот я вчера, несмотря на то, что Ленин под влиянием письма Воровского очень недружелюбно настроен к вам, заговорил с ним о том, как бы он отнёсся к назначению вас на этот пост? Он, конечно, сперва поворчал, наговорил несколько кислых слов по поводу вас, а потом сказал, что ничего не имеет против этого, так как уверен, что вы с этим делом справитесь... Так вот, не согласитесь ли вы занять это место?

Всё то, что мне пришлось увидеть за эти два – три дня в Петербурге, так меня, в сущности, ошеломило, что перспектива взять на себя такую ответственную, а при царившей в самом новом правительстве неразберихе и сумятице, прямо рискованную роль, требующую большого опыта, которого у меня не было, повергла меня в глубокое смущение... Я ответил отказом...

Я передал Красину об этом предложении и моём отказе...

– И хорошо сделал, – сказал он. – Ведь на тебя стали бы вешать всех собак. Да где тебе с ними сговориться! Тут, брат, одна нелепость. И мне кажется, что тебе самое лучшее возвратиться в Швецию и не связываться с здешними правителями...

– Да я и сам так думаю. Право, за эти два – три дня я чувствую себя совсем разбитым... Я просто ничего не понимаю... точно в сумасшедший дом попал... и хочется только бежать отсюда, и как можно скорее...

– Да вот и уезжай в Швецию. Я тоже подумываю махнуть туда же, побыть со своими (его семья находилась в Стокгольме). Конечно, ты и сам видишь, что здесь каши не сваришь. И я думаю, что скоро и весь «Сименс и Шуккерт» будет реквизирован, и мне нечего тут делать. Вот я и поеду в Стокгольм и там будем с тобой разбираться во всём этом. Ведь, право же, эта чепуха не может долго тянуться. Они побезобразят ещё, наделают ещё глупостей, а там опять все удерут за границу, решив, что чего-то не додумали, чего-то не дочитали, и снова примутся за старика Маркса в поисках новых выводов...

Но тут же ему в голову пришла одна идея.

– Ты знаешь, эти грабежи винных складов принимают какой-то катастрофически характер и меня несколько не удивит, если всё это в конце концов отольётся в пугачёвщину. Вот я и подумал, а что, если бы ты занялся в Швеции и вообще за границей сбытом наших винных запасов. Ведь у нас в России эти погреба и склады представляют собою колоссальное состояние... тонкие, драгоценные вина, которые хранятся чуть ли не сотни лет.

А у нас пьяные солдаты и рабочие бьют, ломают, выливают драгоценное вино на улицу, просто сжигают погреба. Посылают солдат на усмирение грабителей, но они присоединяются к ним и вместе уничтожают всё.

Переговорив об этом, мы решили предложить Ленину такой проект. Красин и я возьмёмся за это дело – я в Швеции, а он в Петербурге. Мы немедленно же разработали целый план, и в тот же день отправились в Смольный институт к Ленину.

Разгром и пальба всё усиливались. Ничто не помогало: ни войска, ни специальные агитаторы для вразумления народа. Вот тут-то мы и увидали, как легко советские деятели впадают в панику. В Смольном все были растеряны, и даже сам Ленин. За много лет нашего знакомства я никогда не видал его таким. Он был бледен и нервная судорога подёргивала его лицо.

– Эти мерзавцы, – сразу же заговорил он, – утопят в вине всю революцию! Мы уже дали распоряжение расстреливать грабителей на месте. Но нас плохо слушаются... Вот они, русские бунты!..

Тут мы изложили ему наш проект. Он очень обрадовался такому, как ему казалось, прекрасному выходу. И сразу же решил принять новые драконовские меры против грабежей. В конце концов наш проект был принят, и после долгих переговоров было решено, что я через два – три дня уезжаю в Швецию, займусь там лансированием этого дела и буду ждать товары и устраивать их. Мы собрались уходить, когда Ленин, встав с кресла, обратился к Красину:

– Да, кстати, Леонид Борисович, мне нужно с вами поговорить по одному делу....

Тогда я, простившись с Лениным, оставил его с Красиным и вышел из кабинета. Минут через пять меня нагнал Красин. Вид у него был мрачный и сердитый – я никогда раньше не видал его таким. Садясь в автомобиль, он с сердцем выругался. Я не спрашивал его, но он сам заговорил:

– Знаешь, зачем он меня задержал... Нет, ты подумай только, какая мерзость! Буквально, он спросил меня: «скажите, Леонид Борисович, вы не думаете, что Соломон немецкий шпион». Я, знаешь, так и ахнул, а потом засмеялся и говорю ему: «Ну, это, знаете ли, уж с больной головы на здоровую... вроде истории с заплombированным вагоном...» (Как известно, существует предположение, что Ленин, проехавший через Германию в заплombированном вагоне, был нарочито послан немцами в Россию в качестве их агента и даже получил за это крупные деньги. На это и намекнул Красин в своём ответе. – **Автор.**). «Да нет, говорить он это только вопрос... видите ли, есть письмо от Воровского, который много места отводит Георгию Александровичу... конечно, это между нами... говорит, что он спекулянт и пр. и пр., и что он всегда в разговорах проявляет симпатию к немцам... Сказано это у него довольно коряво, в такой комбинации, что можно подозревать всячину... Но не говорите об этом Соломону...» Нет, ты подумай, каков Воровский... вот мерзость!.. Это он теперь сводит свои старые счёты с тобой за... Ну, да впрочем, чорт с ним»...

В течение моего пребывания в Петербурге новые правители неоднократно возвращались к вопросу о назначении меня на разные посты. Но то, что мне пришлось видеть и слышать, мало располагало меня к тому, чтобы согласиться на какие бы то ни было предложения. Во всём чувствовалась такая несерьёзность, всё так напоминало эмигрантские кружки с их дрызгами, так было далеко от широкого государственного отношения к делу, так много было личных счетов, сплетен и пр., столько было кажения перед Лениным, что у меня не было ни малейшей охоты приобщиться к этому правительству новой формации, которое, по-видимому, и само в то время не создавало себя правительством, а просто какими-то захватчиками, калифами на час...

И это было не только моё личное впечатление, – того же взгляда держались в то время и многие другие, как Красин и даже близкий Ленину по семейным связям, Елизаров, который сокрушённо говорил мне: – Посмотрите на них: разве это правительство?... Это просто случайные налётчики, захватили Россию и сами не знают, что с ней делать... Вот теперь – ломать, так уж ломать всё! И Володя теперь лелеет мечту свести на нет и Учредительное Собрание! Он, не обинуясь, называет эту заветную мечту всех революционеров просто «благглупостью», от которой мы, дескать, ушли далеко... И вот, помяните моё слово, они так или иначе, а покон-

чат с этой идеей, и таким образом, тот голос народа, о котором мы все с детства мечтали, так никогда и не будет услышан... И что будет с Россией, сам чёрт не разберёт!.. Нет, я уйду от них, ну, их к бесу!..

Тут он сообщил мне, что, как он слышал от Ленина, похоронить Учредительное Собрание должен будет некто Урицкий, которого я совершенно не знал, но с которым мне вскоре пришлось познакомиться при весьма противных для меня обстоятельствах...

Итак, я решил возвратиться в Стокгольм и, с благословения Ленина, начать там организовывать торговлю нашими винными запасами. Мне пришлось ещё раз три беседовать на эту тему с Лениным. Всё было условлено, налажено, и я распростился с ним.

Нужно было получить заграничный паспорт. Меня направили к заведывавшему тогда этим делом Урицкому. (Урицкий был первый организатор ЧК. – **Автор**.) Я спросил Бонч-Бруевича, который был управделом Совнаркома, указать мне, где я могу увидеть Урицкого. Бонч-Бруевич был в курсе наших переговоров об организации вывоза вина в Швецию.

– Так что же, вы уезжаете-таки? – спросил он меня. – Жаль... Ну, да надеюсь, это не надолго...

Право напрасно вы отклоняете все предложения, который вам делают у нас... А Урицкий как раз находится здесь...

Он оглянулся по сторонам.

– Да вот он, видите, там разговаривает со Шлихтером... Пойдёмте к нему, я ему скажу, что и как, чтобы выдали паспорт без волянки...

Мы подошли к невысокого роста человеку с маленькими неприятными глазками.

– Товарищ Урицкий, – обратился к нему Бонч-Бруевич, – позвольте вас познакомить... товарищ Соломон...

Урицкий оглядел меня недружелюбным колющим взглядом.

– А, товарищ Соломон... Я уже имею понятие о нём, – небрежно обратился он к Бонч-Бруевичу, – имею понятие... Вы прибыли из Стокгольма? – спросил он, повернувшись ко мне. – Не так ли?.. Я всё знаю...

Бонч-Бруевич изложил ему, в чём дело, упомянул о вине, решении Ленина... Урицкий нетерпеливо слушал его, всё время враждебно поглядывая на меня.

– Так, так, – поддакивал он Бонч-Бруевичу, – так, так... понимаю... – И вдруг, резко повернувшись ко мне, в упор бросил: – Знаю я все эти штуки... знаю... и я вам не дам разрешения на выезд за границу... не дам! – как то взвизгнул он.

– То есть, как это вы не дадите мне разрешения? – в сильном изумлении спросил я.

– Так и не дам! – повторил он криливо. – Я вас слишком хорошо знаю, и мы вас из России не выпустим!..

И между нами началось резкое объяснение. Вмешался Бонч-Бруевич. Он взял Урицкого под руку и, отведя его в сторону, бросил мне:

– Простите, Георгий Александрович, сейчас всё будет улажено... тут недоразумение... мы поговорим с товарищем Урицким... одну минуту...

И он продолжал тащить Урицкого в сторону.

– Никакого недоразумения нет! – кричал Урицкий, несколько упираясь. – Никакого недоразумения... Я всё хорошо знаю... товарищ Воровской писал...

Бонч-Бруевич увлёк его, почти потащил в дальний угол и стал с жаром о чём-то ему говорить. Я стоял в полном недоумении... А Бонч-Бруевич продолжал в чём-то убеждать Урицкого, и оба сильно жестикулировали...

Беседа их тянулась долго. Вдруг я почувствовал, как кровь прилила мне к лицу, и с плохо сдерживаемым гневом я подошёл к ним:

– Так как разговор идёт, очевидно, обо мне, то я просил бы вас говорить при мне, а не за моей спиной... В чём дело, товарищ Урицкий? Почему вы не хотите дать мне разрешение?

– Вы не уедете из России – визгливо вскрикнул Урицкий. – Напрасно товарищ Бонч-Бруевич убеждает меня...

И он, вдруг оторвавшись от Бонч-Бруевича, отбежал куда-то в сторону, повторив мне ещё раз: «не уедете, не уедете». Во всём этом было столько непонятного мне озлобления и какой-то дикой решимости, что я в полном недоумении спросил Бонч-Бруевича:

– Что с ним, Владимир Иванович?.. В чём вообще дело?.. Откуда это озлобление?.. При чём тут Воровский?... Я ничего не понимаю...

– Ах, глупости всё...

И он конфиденциально сообщил мне, что Воровский дал обо мне в личном письме к Урицкому очень неблагоприятную для меня характеристику...

– Так пусть он мне это скажет в глаза! – закричал я и, бросившись к Урицкому, резко сказал: – Извольте сейчас же объяснить мне, на каком основании вы не желаете выдать мне разрешение на выезд? Сейчас же! Я требую... понимаете?!..

Он ответил мне, многозначительно подчёркивая слова:

– У меня имеются сведения, что вы действуете в интересах немцев...

Тут произошла безобразная сцена. Я вышел из себя. Стал кричать на него. Ко мне бросились А.М. Коллонтай, Елизаров и др. и стали меня успокаивать. Другие в чём-то убеждали Урицкого... Словом, произошёл форменный скандал.

Я кричал: – Позовите мне сию же минуту сюда Ильича... Ильича...

Укажу на то, что вся эта сцена разыгралась в большом зале Смольного института, находившемся перед помещением, где происходили заседания Совнаркома и где находился кабинет Ленина.

Около меня метались разные товарищи, старались успокоить меня... Бонч-Бруевич побежал к Ленину, всё ему рассказал. Вышел Ленин. Он подошёл ко мне и стал расспрашивать, в чём дело?

Путаясь и сбиваясь, я ему рассказал. Он подозревал Урицкого.

– Вот что, товарищ Урицкий, – сказал он, – если вы имеете какие-нибудь данные подозревать товарища Соломона, но серьёзные данные, а не взгляд и нечто, так изложите ваши основания. А так, ни с того, ни с сего, заводить всю эту истерику не годится... Изложите, мы рассмотрим в Совнаркоме... Ну-с...

– Я базируюсь, – начал Урицкий, – на вполне определённом мнении нашего уважаемого товарища Воровского...

– А, что там «базируюсь», – резко прервал его Ленин. – Какие такие мнения «уважаемых» товарищей и пр.? Нужны объективные факты. А так, ни с того, ни с сего, здорово живёшь, опорочивать старого и тоже уважаемого товарища, это не дело... Вы его не знаете, товарища Соломона, а мы все давно его знаем... Ну, да мне некогда, сейчас заседание Совнаркома. – И Ленин торопливо убежал к себе.

Урицкий присел за стол и стал что-то писать. Бонч-Бруевич вертелся около него, и что то с жаром ему доказывал. Ко мне подошёл с успокоительными словами Елизаров:

– Право, не волнуйтесь, Георгий Александрович. Вот уж не стоит... У Урицкого, видите ли, теперь просто мания... старается что-то уловить и тычется носом зря... всё ищет корней и нитей.

– Да нет, Марк Тимофеевич, – сказал я, – мне всё это противно... Какие-то нелепые подозрения, намёки... И я буду требовать расследования, чтобы выяснить эту атмосферу каких-то недомолвок и пр....

Урицкий, между тем, кончил писать и передал написанное Бонч-Бруевичу, который, пожимая плечами, прочитал написанное и опять стал что-то доказывать Урицкому, горячо ему оппонировавшему. Наконец, Бонч-Бруевич махнул рукой и понёс бумагу в помещение Совнаркома.

Началось заседание Совнаркома. Урицкий взволнованно бегал по зале, подходя то к одному, то к другому и о чём-то с жаром говорил, усиленно жестикулируя и посматривая на меня. Прошло несколько времени и из залы заседания вышел Елизаров вместе с каким-то высоким седым человеком. Они направились ко мне.

– Ну, вот, Георгий Александрович, Совнарком рассмотрел заявление товарища Урицкого и нашёл его неосновательным и постановил не заниматься этим делом... Но если вы хотите и настаиваете, то вот товарищу Стучко, – он указал на своего спутника, – с которым прошу познакомиться, поручено вас выслушать.

Заговорил Стучко. Он предложил изложить сущность дела. Я ему сказал, что дело очень простое: мне отказывают по каким-то неизвестным мне подозрениям, в разрешении на выезд за границу... И Стучко и Елизаров потолковали ещё со мной и ушли на заседание, сказав, что доложат Совнаркому. Прошло довольно много времени, прежде чем они вышли снова.

– Вот, Георгий Александрович, – обратился ко мне Елизаров, – товарищ Стучко сделал свой доклад по делу Урицкого. И Совнарком решил, что товарищ Урицкий не имеет никаких оснований не выдавать вам разрешения на выезд и должен вам выдать заграничный паспорт... И вообще, плюньте на это дело... всё это обычные кружковые дразги!..

И тут же, подозревав Урицкого, он передал ему решение Совнаркома. Дело было кончено. Но необходимо отметить, что тут началась настоящая обывательщина: Урицкий заявил мне, что я должен подать обычное прошение и не здесь, а на Гороховой, в помещении градоначальника, в общем порядке. И три дня меня ещё манежили. Урицкий вымещал на мне, заставляя меня стоять в очередях и ездить то на Гороховую, то в Смольный, требуя каких-то справок и пр. Но, наконец, паспорт был у меня в руках и, наскоро собравшись, я снова двинулся в Стокгольм через Финляндию на Торнео и Хапаранта...

Я посвятил сравнительно много места описанию моего столкновения с Урицким. И сделал я это не для того, чтобы повествовать о моих злоключениях, а лишь потому, что как-никак, а ведь Урицкий был историческим лицом, независимо от величины, и мне кажется полезным показать этого героя, ликвидировавшего Учредительное Собрание, в другой сфере его деятельности!..

Скажу правду, что только в Торнео, сидя в санях, чтобы ехать в Швецию на станцию Хапаранта (рельсового соединения тогда ещё не было), я несколько пришёл в себя, ибо, пока я был в пределах Финляндии, находившейся ещё в руках большевиков, я всё время боялся, что вот-вот по телеграфу меня остановят и вернут обратно. И, сидя уже в шведском вагоне и перебирая мои советские впечатления, я чувствовал себя так, точно я пробыл в Петербурге не три недели, как оно было на самом деле, а долгие, кошмарно долгие годы. И трудно мне было сразу разобраться в моих впечатлениях, и первое время я не мог иначе формулировать их, как словами: первобытный хаос, тяжёлый, душу изматывающий сон, от которого хочется и не можешь проснуться. И лишь много спустя, уже в Стокгольме, я смог дать себе самому ясный отчёт в пережитом в Петербурге...

Отдохнув с дороги, я через два дня явился к Воровскому, чтобы сообщить о принятом решении продавать в Швеции при моём посредничестве запасы наших вин. Он, по-видимому, был очень неприятно удивлён, увидя, что я вернулся жив и здоров, но сперва хотел было встретить меня по-прежнему, как доброго знакомого.

– А, вот и вы! – начал он. – Хорошо ли съездили?... Что там новенького?...

– Как видите, – сухо ответил я, – несмотря ни на что, я-таки вернулся. И вот, в чём дело...

Тут я изложил ему выработанный нами проект вывоза старых вин. Ему это сообщение не понравилось и он, не скрывая уже своей неприязни ко мне, сказал:

– Всё это очень хорошо, но почему это дело возлагается на вас и на Красина? Ведь в Стокгольме, насколько мне известно, я являюсь официальным представителем РСФСР... Казалось

бы естественным возложить это дело на меня... или вообще поручить мне организовать его... Ну, да впрочем, раз такова воля начальства, я должен повиноваться...

– Да нет, – ответил я, – пожалуйста, берите его на себя. Я вам передал только по указанию Ленина об этом решении и проект. Но у меня нет ни малейшего желания нарушать ваши prerogatives...

Я, признаться, был рад, что дело этим кончилось, так как не сомневался, что, если бы я принял за него, то Воровский употребил бы все меры, чтобы мешать мне, пошли бы дразги... Когда этот вопрос был у нас письменно оформлен, и я собирался уже уходить, Воровский вдруг спросил меня снова дружески-интимным тоном:

– Ну, Георгий Александрович, скажите мне теперь по-товарищески... что?.. Очень плохи дела в Петербурге?... Скоро конец?..

– О, нет, всё идёт великолепно, – сухо ответил я и, оборвав этим наше свидание, ушёл.

Само собою, я написал Красину о моём разговоре с Воровским и о том, что я отказываюсь от этого дела, и просил его передать об этом Ленину. Месяца через два я получил от Красина письмо, в котором он, между прочим, сообщал, что собирается в Стокгольм.

К этому времени положение Воровского, как посланника, значительно окрепло. Он снял помещение для своего посольства, расстался с «Сименс и Шуккерт» и назначил себе в помощь в качестве торгового агента некоего Циммермана, мужа сестры своей жены, которому были приданы и консульские функции. Я знал несколько этого Циммермана. Это был неудавшийся кинематографический артист, человек без всякого образования с резко выраженными чернотенными симпатиями, очень безалаберный, не имевший ни малейшего представления о торговых делах. С Воровским я почти не видался, лишь изредка встречая его у жены Красина, причём мы с ним никогда не разговаривали. Но так или иначе, до меня доходили слухи о деятельности представительства.

Отмечу вкратце, что в то время Стокгольм, как столица нейтрального государства, представлял собою весьма оживлённый торговый центр, наполненный всякого рода дельцами-спекулянтами, торговавшими всем, чем угодно, и составлявшими себе громадные капиталы. Естественно, что, когда на рынок выступила и РСФСР, вся эта армия дельцов устремила в советское посольство и, пользуясь случаем, стала сбывать ему всякие негодные товары. И в «Гранд-Отел», где, по существу, находилась чёрная товарная и валютная биржа и где ютились все эти спекулянты, заключались громадные сделки, и оттуда же шли по всему городу разговоры обо всех ловких проделках, о колоссальных куртажах, о сбыте негодных товаров и пр. и пр.

Но в мою задачу не входит привести этих слухов и разговоров и потому я не буду их повторять. Однако, было одно обстоятельство уже общественного значения, вышедшее за пределы простых слухов и ставшее одно время довольно сенсационным, о котором я вкратце и упомяну. Как я отметил выше, около советского правительства ютилось не мало тёмных дельцов. И вот в Стокгольме же произошло несколько убийств (не могу привести, сколько именно было случаев) людей, ведших дела с представительством. Убийства эти произошли при обстоятельствах весьма таинственных, и вскоре в городе заговорили о какой-то специальной организации, расправлявшейся с близко стоявшими к представительству лицами... Слухи ползли и ширились и принимали подчас какие-то фантастические размеры... Об этих убийствах и убийствах Воровский написал брошюру под заглавием, если не ошибаюсь, «Лига убийц». Я читал её и, насколько помню, она ничего не разъяснила. И вопрос этот так и остался, в сущности, весьма загадочным... Когда-нибудь беспристрастная история раскроет его, а также и роль Воровского...

Между тем, приехал Красин. Мы встречались с ним почти каждый день и, само собою, всё время говорили о том, что у нас обоих болело – о России, обмениваясь нашими впечат-

лениями и наблюдениями. Сообщил он мне подробности – уже общеизвестные – о разгоне Учредительного Собрания...

Как и понятно читателю из вышеизложенного, мои впечатления были в высокой степени мрачны. Не менее мрачен был взгляд Красина, как на настоящее, так и на будущее. Мы оба хорошо знали лиц, ставших у власти знали их ещё со времени подполья, со многими мы были близки, с некоторыми дружны. И вот, оценивая их, как практических государственных деятелей, учитывая их шаги, их идеи, учитывая этот новый курс, ставку на социализм, на мировую революцию, в жертву которой должны были быть, по плану Ленина, принесены все национальные русские интересы, мы в будущем не предвидели, чтобы они сами и люди их школы могли дать России что-нибудь положительное. Мы отдавали себе ясный отчёт в том, что на Россию, на народ, на нашу демократию Ленин и иже с ним смотрят только, как на экспериментальных кроликов, обречённых вплоть до вивисекции, или как на какую то пробирку, в которой они продельывают социальный опыт, не дорожа её содержимым и имея в виду, хотя бы даже и изломав её вдребезги, повторить этот же эксперимент в мировом масштабе. Мы ясно понимали, что Россия и её народ – это в глазах большевиков только определённая база, на которой они могут держаться и, эксплуатируя и истощая которую, они могут получать средства для попыток организации мировой революции. И притом эти люди, оперируя на искажении учения Маркса, строили на нём основание своих фантастических экспериментов, не считаясь с живыми людьми, с их страданиями, принося их в жертву своим утопическим стремлениям... Мы понимали, что перед Россией и её народом, перед всей русской демократией стоит нечто фатальное, его же не минуешь, море крови, войны, несчастья, страдания... Было поистине страшно. Ведь мы оба с юных лет любили наш народ, худо ли, хорошо ли, чем-то жертвовали для него, для борьбы за его светлое будущее, за его свободу. В нас не погас ещё зажжённый в юные годы светоч нашего, для нас великого и дорогого идеала – добиваться и добиться того момента, когда наш народ в лице своих государственных организаций, им излюбленных, им одобренных, им установленных, свободно выскажет свою волю, – как он хочет жить, в чьи руки он желает вложить бразды правления, каково должно быть это правление... И мы понимали, что, как мы это называли, «сумасшествие», охватившее наших экспериментаторов, есть явление, с которым следует бороться всеми мерами, не щадя ничего.

Бороться!? Но как? Чем? Мы понимали, что борьба в лоб, при завоёванных уже большевиками позициях, бесцельна и осуждена на провал. Мы понимали, что они, худо ли, хорошо ли, но спаяны крепкой спайкой, состоящей из сплетения личных эгоистических интересов, как бы известной круговой порукой, общим их страхом перед тем, что они натворили и ещё натворят, и что это положение обязывает их цепко держаться друг за друга, то есть, прочно и стойко организовываться и хранить свои организации и дисциплину, как бы жестока она ни была, ибо в них заключается их личное спасение от гнева народного... Мы видели, как деморализована и дезорганизована наша демократия, раз достаточно было какого-то ничтожества урицкого (употребляю это имя в нарицательном смысле) для того, чтобы сломать и уничтожить то светлое, что представляет собой Учредительное Собрание. Мы не обвиняли её. Но мы с печалью констатировали, что великая идея в своём воплощении оказалась слабой и беспомощной, как внутри себя, так и вне, ибо разгон Учредительного Собрания прошёл, можно сказать, незамеченным – никто не встал на защиту его... Это дало и даёт основание для глубоко неверного и глубоко неискреннего заключения, что идея эта уже изжита народным сознанием, что она уже погибла в самом народе. Нет, мы верили ещё в жизненность самой идеи, в её историческую необходимость, понимая, что лишь дезорганизованности демократии, сжатой тисками относительной организованности большевиков, была настоящей причиной провала Учредительного Собрания.

Мы оба отлично сознавали, что новый строй несёт и проводит ряд нелепостей, уничтожая технические силы, т. е., то, что теперь принято сокращённо называть «спецами», демо-

рализируя их, возводя в перл создания замену их рабочими комитетами, которые в лучшем случае, при самом добром желании, беспомощно бьются в вопросах им совершенно непонятных. Равным образом мы хорошо понимали, что стремление изничтожить буржуазию было не меньшей нелепостью. Мы сравнивали её с буржуазией западноевропейской и, ясно, находили её ещё молодой, только что, в сущности, начавшей развиваться и становиться на ноги, что она по социально-историческому закону должна была ещё внести в жизнь много положительного, ещё долго и в положительном же направлении влиять на жизнь, толкая её вперёд. Словом, что этот социальный класс и у нас и в Европе и на всём свете ещё должен нести свою историческую культурную и прогрессивную миссию, улучшая человеческую жизнь, толкая её на путь широкой свободы. Оставаясь марксистами, мы не могли, конечно, не отдавать ей в этом справедливости и не могли не защищать её права на существование, пока в ней ещё зреют творческие силы, пока её исторический путь ещё не закончен... Но я не буду приводить и развивать все эти, в сущности, социально-азбучные истины, я упоминаю о них только для того, чтобы читателю была ясна та психология, которая определяла собою наши рассуждения и обоснования. Но перед нами стояла российская современность, в широком понимании этого слова, не помнящая родства всё забывшая, готовая всё ломать и губить. Мы отдавали справедливость искренности заблуждений этих людей (я говорю об искренно, по невежеству, заблуждавшихся, а не о тех, которые старались и стараются примазаться к победителям, подпевая им в тон, и стремящихся только устроить свои личные дела и делишки, сделать карьеру, нажиться, имя которым легион), и тем более мы приходили в ужас...

И сколько времени могло это продлиться?

Мы неоднократно возвращались к этому вопросу, ставя его друг другу. Красин, долгие моего наблюдавший Россию при большевиках, сокрушённо разводил руками и начинал сомневаться в скоротечности их власти. И не только потому, что он считал их абсолютно сильными, а исключительно по сравнению с неорганизованностью самого населения, его усталостью, проникшей всё сознание населения, впавшего в состояние какой-то инертности, состояние как бы общественной потери воли, у которого точно руки опустились... И сравнивая это состояние российских граждан, хотя и недовольных большевистским режимом, но упавших духом и не способных к борьбе, с громадной энергией, хотя бы и энергией отчаяния и инстинкта самосохранения большевиков и их относительной организованностью, он говорил:

– Да, раньше, когда ты приезжал в Петербург, я думал, что это вопрос недолгого времени... Как то верилось ещё в силу населения, которому большевистский режим совершенно отвратен, верилось, что у него не иссякли ещё силы к борьбе... Но уже одна только проделка с Учредительным Собранием, этот разгон его без всякого протеста со стороны демократии, которая вяло и в общем безразлично проглотила эту авантюру, навела меня на сомнения в моём прогнозе... Они всё забирают в руки, бессмысленно тратят всё, что было накоплено старым режимом, и, кто его знает, не затянется ли это лихолетье года на два, на три... пока хватит старых запасов, пока можно реквизировать и хлеб и деньги и готовую продукцию и можно кое-как – хотя, чорт знает, как – вести промышленность... Словом, я не предвижу скорого конца...

Доводы его, а также и тех, кто прибывали, правда, всё реже и реже из России, и которые высказывали всё те же соображения, но в состоянии уже полной паники, начинали и мне казаться основательными... Было не мало людей, переоценивавших силу большевиков и исключительно ей, а не в связи со слабостью и инертностью населения, приписывавших их успех, и потому предрекавших их долговечность... Словом, разобраться тогда в этом вопросе было очень нелегко...

Так мы часто беседовали с Красиным и никак не могли придти к каким-нибудь определённым выводам, основательному прогнозу.

Между тем, в России события шли своим чередом. Объявилась самостийная Украина. И Красину и мне одна крупная банковая организация (не назову её имени) предложила ехать в

Киев и стать во главе организуемого там крупного банка, от чего мы отказались. Из Петербурга мы (особенно Красин, конечно,) получали письма с предложением разных назначений. Но мы всё отклоняли, ибо никак не могли принять какого-либо решения и стояли в стороне от жизни, всё топчась на одном месте... Однако, мы должны были, чисто психологически должны были принять какое-нибудь окончательное решение. А жизнь не стояла и двигалась вперёд... Брест-Литовский мир вошёл в силу и в Берлин выехало советское посольство во главе с Иоффе...

И вот, в наших рассуждениях, в нашей оценке момента постепенно, не могу точно отметить как, наступил перелом. Встал вопрос: имеем ли мы право при наличии всех отрицательных, выше вкратце отмеченных, обстоятельств, оставаться в стороне, не должны ли мы, в интересах нашего служения народу, пойти на службу Советов с нашими силами, нашим опытом, и внести в дело, что можем, здорового. Не сможем ли мы бороться с той политикой оголтелого уничтожения всего, которой отметилась деятельность большевиков, не удастся ли нам повлиять на них, удержать от тех или иных безумных шагов... Ведь у нас были связи и опыт. Ведь мы могли бы – так казалось нам – бороться хотя бы с уничтожением технических сил, способствовать их восстановлению, могли бы бороться с стремлением полного уничтожения буржуазии, которой, как мы в этом не сомневались, рано было ещё петь отходную (Только порядка ради напомним о «непе». С введением его буржуазия показала свою силу, устойчивость, жизнеспособность. Позволю себе сказать, что в этой новой политике, провозглашённой Лениным, не малую роль играл и Красин. – **Автор.**) и т. д. У нас зарождалась надежда, что сами большевики в процесс управления страной должны будут придти к пониманию своих истинных задач, должны будут отказаться от многих своих утопического характера экспериментов, что вовлечение их в нормальные отношения с западом, с его политикой, с его экономической жизнью, с его товарным обращением, по необходимости заставит советское правительство равняться по той же линии, и что прямолинейное стремление к коммунизму сейчас, немедленно же, само собой начнёт падать и падёт. Мы ведь были уверены, что люди, ставшие правительством, люди, которых мы в общем хорошо знали по прежней нашей революционной работе и которые отличались бескорыстием, любовью к народу и беззаветным стремлением жертвовать собой в интересах определённых политических и экономических идеалов, неся на себе громадную ответственность, естественным ходом жизни будут принуждены сознать эту ответственность и не смогут не стать в конечном счёте правительством народным, осуществляя стремления русского народа, его идеалов, его хозяйственные цели... Мы надеялись, что, став на эту здоровую почву, они откажутся от многого эксцессивного, ибо сама жизнь будет от них этого требовать, и не только русская жизнь, но и жизнь запада, в круговорот которой, повторяю, должна была войти и Россия... И таким образом, силой чисто объективных обстоятельств правительство вынуждено будет пойти по линии неизбежных уступок и отказа от твердокаменного проведения в жизнь всего того, что ещё находится в идеальном будущем и от осуществления чего жизнь человеческая ещё очень далека... Мы верили, что правительство вынуждено будет понять, что Россия не может и не должна оставаться в стороне от мирового хозяйства и мировой политики, не может изолироваться от них и отгородиться китайской стеной...

Не забывали мы и того обстоятельства, что, благодаря саботажу, проводимому в виде протеста против большевиков, они, неопытные в деле государственного управления, были поставлены в крайне затруднительное положение и обречены были на ряд ошибок, хотя бы чисто технического свойства, что запутывало ещё больше положение...

Таким образом, идя по этому пути, мы с Красиным пришли к решению пойти на службу к Советам... И мы условились, что первым поедет Красин, оглядится и выпишет меня. Вскоре он и уехал в Берлин помочь Иоффе, не беря никакого квалифицированного назначения. Примерно в конце июня я получил от него и от Иоффе приглашение принять должность первого секретаря посольства. Между прочим, Красин писал, что в посольстве, благодаря набранному с бора да с сосенки штату, царит крайняя запутанность в делопроизводстве, в отчётности, в

хозяйстве, что мне предстоит много кропотливой работы, так как, хотя служащие и неопытны, но самомнение у них громадное и амбиции хоть отбавляй, что равным образом хромает и дипломатическая часть... Словом, он настоятельно звал меня, аттестуя Иоффе, которого я не знал, с самой лучшей стороны и уверяя меня, что я с ним хорошо сойдуся.

Я принял предложение и в начале июля 1918 года выехал в Берлин.

Часть первая Моя служба в Германии

I

Итак, в начале июля 1918 года поздно вечером я приехал в Берлин. В последний раз я был в Германии и в Берлине в 1914 году, уехав всего за неделю до объявления войны. И вот теперь, попав в Германию уже в эпоху войны, я не мог не обратить внимания на то, как в ней поблекли и изменились люди, насколько они имели вид изголодавшихся... Поразило меня и то, что в отеле, где я остановился, в комнате было вывешено печатное объявление, что администрация просит не выставлять обувь и одежду для чистки в коридор, в противном случае слагает с себя всякую ответственность за пропажу... На улицах царил грязь, валялись бумажки, всякий мусор...

На утро я поехал в посольство, на Унтерденлинден, 7. Меня встретила маленькая некрасивая брюнетка лет восемнадцати-девятнадцати, в белом платье.

– А, товарищ Соломон, – приветствовала она меня. – Очень приятно познакомиться... Мы с нетерпением ждём вас... Товарищ Красин много говорил о вас...

– Здравствуйте, товарищ, – ответил я. – С кем имею удовольствие говорить?

– Я личный секретарь товарища посла, Мария Михайловна Гиршфельд, – отрекомендовалась она, значительно подчеркнув название своей должности. – Это я вам писала по поручение товарища Иоффе приглашение принять пост первого секретаря.

– Очень приятно, – ответил я. – Мне хотелось бы повидаться с товарищем Иоффе.

– А, пройдемте в столовую. Товарищ Иоффе там... мы только что пьём кофе, – и она повела меня наверх.

– Вот, Адольф Абрамович, – развязно обратилась она к сидевшему у конца стола господину, – я вам привела нашего первого секретаря, Георгия Александровича Соломона... Знакомьтесь пожалуйста... Садитесь, не хотите ли кофе? Хотя в Берлине на счёт провизии и очень скудно, но нам выдают и сливки... Можно вам налить чашку? – тараторила она, точно стремясь поскорее выложить что-то спешное.

От кофе я отказался, сказав, что пил в отеле. Присел за стол, и мы начали обмениваться с Иоффе обычными словами приветствия.

Иоффе Адольф Абрамович (1883–1927) – видный советский дипломат.

В социал-демократическом движении принимал участие с конца 90-х годов. На VI съезде РСДРП(б) вместе с межрайонцами был принят в партию большевиков и избран в ЦК. В Октябрьские дни 1917 г. – член Петроградского Военно-революционного комитета. Во время брестских переговоров входил в состав советской мирной делегации.

С апреля по ноябрь 1918 г. – полпред РСФСР в Берлине. В последующие годы также на дипломатической работе. В 1925–1927 гг. примыкал к троцкистской оппозиции.

Использованы материалы из кн.: Ф.Ф. Раскольников «На боевых постах». М. 1964.

Иоффе Адольф Абрамович (10.10.1883, Симферополь – 17.11.1927, Москва), партийный деятель, дипломат. Сын богатого купца. В конце 1890-х гг. примкнул к социал-демократам. В 1903 вступил в РСДРП, меньшевик. Вёл партработу в Баку, Москве. В 1905 участвовал в восстании в Крыму.

Неоднократно арестовывался. В 1917 издавал вместе с Л.Д. Троцким газету «Вперёд» (Петроград) В авг. 1917 в числе «межрайонцев» принят в РСДРП(б). В 1917 член Петроградского совета. Во время Октябрьского переворота член Петроградского военно-революционного комитета. В 1917-19 кандидат в члены ЦК РКП(б). В нояб. 1917 – янв. 1918 пред., а затем член и консультант советской делегации на переговорах о мире в Брест-Литовске.

Поддерживал предложение Л.Д. Троцкого – «ни мира, ни войны». С апр. 1918 полпред в Берлине. Заключил «добавочный протокол» в Брест-Литовскому трактату. Активно участвовал в подготовке коммунистического восстания в Германии и 6.11.1918 вместе со всем полпредством выслан из страны.

В 1919-20 член Совета обороны, нарком государственного контроля Украины. В 1920 возглавлял советские делегации на переговорах с Эстонией, Латвией и Литвой. Подписал со всеми тремя странами мирные договоры. В 1921 пред. советской делегации на переговорах с Польшей. После заключения советско-польского мира в 1921 назначен зам. пред. туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1922 входил в состав советской делегации на Генуэзской конференции. В 1922-24 полпред в Китае, председатель делегации на переговорах с Японией в Чан-чуне. Переговоры ещё не были закончены, когда Иоффе, тяжело заболев, отбыл в Москву. В 1924 направлен в составе советской делегации в Великобританию. В 1924-25 полпред в Австрии. В 1925 примкнул к «Новой оппозиции» и стал одним из её руководителей, убеждённый сторонник Троцкого.

Покончил жизнь самоубийством после того, как стало ясно поражение троцкистов. В предсмертном письме Троцкому писал о своей обиде на ЦК, которое отказало ему в денежных средствах для лечения за границей. «Я не сомневаюсь, что моя смерть является протестом борца, убеждённого в правильности пути, который избрали Вы, Лев Давидович». Выступление Троцкого на похоронах Иоффе – последнее публичное выступление Троцкого в СССР.

Использованы материалы из кн.: Залесский К.А. «Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь». Москва, Вече, 2000.

В революции 1917 года

Иоффе Адольф Абрамович (10 октября 1883, Симферополь – 17 ноября 1927, Москва). Из семьи купца. Окончив гимназию, в 1903–1904 учился на мед. ф-те Берлинского ун-та, в 1906–1907 на юрид. ф-те Цюрихского ун-та. Чл. РСДРП с кон. 90-х гг. 19 в.: примыкал к меньшевикам. Участник Рев-ции 1905-07 (Севастополь, Одесса). Находясь в эмиграции, был в 1906-07 чл. Загран. бюро ЦК РСДРП. В 1908-12 вместе с Л.Д. Троцким и М.И. Скобелевым издавал газ. «Правда» (Вена). В России неоднократно подвергался арестам, ссылкам.

После Февр. рев-ции 1917, приехав из сиб. ссылки в Петроград, вошёл в группу «межрайонцев» совм. с Л.Д. Троцким издавал ж. «Вперёд». На 6-м съезде РСДРП(б) (26 июля – 3 авг.) в числе «межрайонцев» принят в большевист. партию; чл. мандатной и редакц. комиссий съезда, канд. в чл. ЦК. На заседании ЦК 5 августа избран в узкий состав ЦК РСДРП(б), 6 августа – в состав Секретариата ЦК. 20 августа введён ЦК в редколлегия газ.

«Пролетарии» (одно из назв. «Правды»); избран гласным петрогр. Гор. думы (чл. больничной комиссии). Чл. Петрогр. Совета РСД. 6 сент. делегирован думой для участия в Демокр. совещании (14–22 сент.). Как представитель большевиков участвовал в работе Предпарламента (7 окт. совм. с др. большевиками вышел из него). 20 сент. введён в муниципальную комиссию ЦК РСДРП(б) и в редколлегия ж. «Город и Земство». С 25 сент. член исполкома Петрогр. Совета РСД от рабочей секции.

В дни Окт. вооруж. восст. член Петрогр. ВРК. Дел. 2-го Всерос. съезда Советов РСД, избран чл. ВЦИК. 3 нояб., подписал ультиматум большинства членов ЦК РСДРП(б) меньшинству по поводу формирования «однородного соц. пр-ва» Член Учред. Собр. (от Пскова). С 20 нояб. (до янв. 1918) пред. сов. делегации на переговорах о мире с Германией в Брест-Литовске; 2 дек. в числе других подписал перемирие с Германией и её союзниками. По вопросу о заключении мира с Германией стоял на позициях Троцкого – «ни мира, ни войны».

На заседании ЦК РСДРП(б) 18 февр. 1918 заявил: «Я вчера думал, что немцы наступать не будут; раз они наступают, то это полная победа империализма и милитаристич. партий... Мне казалось бы обязательным подписание мира только в том случае, если бы наши войска бежали в панике, ...если бы народ требовал от нас мира. Пока этого нет, мы по-прежнему должны бить на мировую рев-цию»: резолюция была отвергнута съездом; избран канд. в чл. ЦК.

В марте – апр. чл. Петрогр. бюро ЦК РКП(б). В апр.-дек. полпред РСФСР в Германии, затем на др. гос. и парт. работе. Будучи смертельно больным, покончил жизнь самоубийством.

Использованы материалы статьи Б.Я. Хазанова в кн.: Политические деятели России 1917. биографический словарь. Москва, 1993.)

Иоффе представлял собою человека средних лет невысокого роста, с очень интеллигентным выражением лица резко семитического типа. Курчавая, довольно длинная борода обрамляла его лицо с большими, красивыми глазами, в которых светились и ум, и хитрость, и доброта. Он радушно приветствовал меня и тут же добавил:

– Вы, наверное, хотите поскорее повидать Леонида Борисовича Красина... Он вас ждёт с большим нетерпением. Мы сейчас его позовём... Марья Михайловна, – обратился он к своей секретарше, – будьте добры, попросите Леонида Борисовича. Скажите ему, что Георгий Александрович здесь.

Она вскочила, было, чтобы идти, но затем, по-видимому, передумала, нажала кнопку электрического звонка и сказала:

– Я пошлю за ним лучше Таню...

В столовую вошла молодая девушка, которую Марья Михайловна мне представила:

– Позвольте вам представить... Это горничная товарища посла, товарищ Таня.

Мы обменялись с товарищем Таней рукопожатиями, и Марья Михайловна попросила её пригласить Красина, который, оказалось, жил здесь же в посольстве.

Пришёл Красин.

– Леонид Борисович, не выпьете ли вы с нами кофе со сливками, и настоящего кофе, а не эрзац? – кинулась к нему Марья Михайловна.

Красин отказался, сказав, что он уже напился кофе в общей столовой. Мы стали говорить о делах посольства. И Красин и Иоффе напирали на то, что ждут от меня приведения в порядок дел, находившихся в хаотическом состоянии и указывали на разные частности. Марья Михайловна, сидевшая с нами, всё время вмешивалась в разговор, перебивая всех без всякого

стеснения и вставляя свои указания, часто весьма нелепые, к которым Иоффе относился с какой-то отеческой снисходительностью. На это маленькое совещание был приглашён и мой старый товарищ, Вячеслав Рудольфович Меньжинский, ныне начальник Г.П.У., который тоже жил в посольстве и состоял в Берлине, генеральным консулом.

– Ты, Георгий Александрович, – говорил Красин, – обрати внимание на систему денежной отчётности, бухгалтерию, а также на делопроизводство... Сейчас здесь сам чорт ногу сломит. Когда нужна какая-нибудь бумага, её ищут все девицы посольства и в конце концов не находят.

– Да, – поддакивал Иоффе, – наш бюрократический аппарат действительно сильно прихрамывает.

– Да как же ему не хромать, – перебил Красин, – ведь публика у нас вся неопытная... Конечно, все они хорошие товарищи, но дела не знают. А потому путаница у них царит жестокая.

В конце концов, из этой беседы для меня стало ясно, что штат посольства весьма многочислен, но состоит из людей, совершенно незнакомых с делом. И вот Иоффе, обратившись ко мне, сказал:

– Я вас очень прошу, Георгий Александрович, привести всё в порядок, указать, как и что должно делать...

– А не столкнусь ли я с уязвлёнными самолюбиями? – спросил я. – Не пошли бы в результате моих реформ всяческого рода дразги?

И Иоффе, и Красин, и Меньжинский стали уверять меня, что с этим мне нечего считаться. Все обещали своё содействие. В частности, Иоффе заметил, что сам, плохо зная бюрократический аппарат, даёт мне «карт бланш» делать и вводить всё, что я найду нужным.

– Да, мы даём вам «карт бланш», – развязно и с комической важностью, подтвердила и Марья Михайловна. Затем мы все вместе отправились вниз в помещение, где находились канцелярии, и Иоффе и неизбежная, по-видимому, Марья Михайловна познакомили меня со служащими. Здесь же были представлены мне 2-ой и 3-ий секретари посольства, товарищи Якубович и Лоренц (ныне полпред в Риге). Особенно долго мы оставались в помещении кассы, разговаривая с кассиром, товарищем Сайрио.

Товарищ Сайрио заслуживает того, чтобы посвятить ему несколько строк, так как в нём есть много типичного. Маленького роста, неуклюже сложенный, к тому же ещё и хромым, латыш, с совершенно неинтеллигентным выражением лица, полным упрямства и тупости, он производил крайне неприятное, вернее, тяжёлое впечатление. Несколько вопросов, заданных ему о порядке ведения им кассы, показали мне, что человек этот не имеет ни малейшего представления о том, что такое кассир какого бы то ни было общественного или казённого учреждения. Правда, это был безусловно честный человек (говоря это на основании уже дальнейшего знакомства с ним), но совершенно не понимавший и, по тупости своей, так и не смогший понять своих общественных обязанностей и считавший, что, раз он не ворует, то никто не должен и не имеет права его контролировать.

Он сразу же заявил мне, что касса у него в полном порядке, все суммы, которые должны быть на лицо, находятся в целости. Когда же я задал ему вопрос относительно того, как он сам себя учитывает и проверяет, он сразу обиделся, наговорил мне кучу грубостей, сказав, что он старый партийный работник, что вся партия его знает, что он всегда находился в партии на лучшем счету, пользовался полным доверием и т. под. В заключение же, на какое-то замечание Красина о порядке ведения кассы, он грубо заметил:

– Я никому не позволю вмешиваться в дела кассы и никого не подпущу к ней... никому не позволю рыться в ней, будь это хоть рассекретарь... у меня всегда при мне револьвер...

– Позвольте, товарищ Сайрио, – вмешался Иоффе, – и меня вы тоже не подпустите к кассе, если бы я нашёл нужным произвести в ней ревизию?

– Вы... э... э..., – стал он заикаться и путаться, – вы мой начальник... вы... другое дело...

– Великолепно! Ну, а если я делегирую свои права товарищу Соломону...

Он свирепо взглянул на меня и заявил:

– Этого я не позволю... никаких делегатов здесь нет!..

Человек, видимо, не понимал, что значить понятие «делегировать права»... И Иоффе принялся ему педантично выяснять и доказывать. Задача была неблагодарная. Мы просто все упарились. Товарищ Сайрио стоял твёрдо на своём и упрямо твердил одно и то же: «никого не подпущу к кассе»...

Тогда присутствовавший при этой сцене Якубович, второй секретарь, заметил ему:

– А как же, товарищ Сайрио, когда вы несколько дней тому назад заболели, вы пришли ко мне, и сами отдали мне ключи от кассы, чтобы я за вас, в случае надобности, выдавал деньги.

– А, это потому, что я вам верю...

– Значит, – снова вмешался я, – меня вы не подпустите к кассе, потому что вы мне не врите. А по личному доверию вы позволяете себе передавать кассу другим товарищам...

– Да, касса доверена мне... я вас не знаю... и не подпущу...

Снова вмешался Иоффе, за ним Красин, Меньжинский, и стали ему доказывать его тупое заблуждение. Но ничего не помогало.

– Ну, – сказал Красин, – мы так, видно ни до чего путного не договоримся. Предоставим это педагогическому воздействию Георгия Александровича... Со временем он ему докажет и переубедит.

– Да, но мне надо ещё выяснить, – сказал я, – как товарищ Сайрио выдаёт и получает суммы? По ордерам бухгалтерии, или как?

– Я? – взвизгнул он, точно ему сказали нечто ужасное. – Нет, когда я выдаю или получаю деньги, я потом велю бухгалтерше, отметить в книге, что столько-то я выдал или получил... А так ей нет никакого дела, касса моя!.. – и он даже ударил себя в грудь кулаком.

Пришлось временно оставить товарища Сайрио в покое. Мы бились с ним не менее часа, и так и не могли его переубедить. Мы пошли дальше.

– Ну, и тип, – сказал Красин, обращаясь ко мне. – Придётся тебе, брат, помучиться с ним.

– Нет, ничего, – умиротворяюще заметил Иоффе, – я побеседую с ним и уломаю его. Мы с ним друзья и я надеюсь выяснить ему, чего мы от него желаем.

Надо отметить, что не мене спутанное представление о своих обязанностях имела и дама, занимавшая место бухгалтера. Краткого объяснения с ней было достаточно, чтобы убедиться, что и тут мне предстоит продолжительное педагогическое воздействие.

Затем мы пошли в помещение генерального консульства, где Меньжинский представил мне своих сотрудников. Из них я упомяну о Г.А. Воронове, вице-консule, и товарище Ландау, секретаре консульства, так как оба они будут играть некоторую роль в моих воспоминаниях.

Далее мне были представлены многочисленные сотрудники бюро печати, во главе которого стоял очень юный товарищ Розенберг, имевший под своим началом человек двадцать сотрудников, главным образом, немецких товарищей, спартаковцев. Это бюро печати было занято тем, что составляло информационные листки, в которых приводилось всё, что было нового в русской и заграничной жизни...

Словом, в этот свой визит я осмотрел всё помещение посольства, вплоть до жилых комнат и общей столовой сотрудников, в которой они все за незначительную плату получали утренний кофе, обед и ужин.

Мы снова, обмениваясь впечатлениями, вернулись в столовую Иоффе. Здесь Иоффе предложил мне принять участие в переговорах, ведшихся с немцами о компенсационной сумме, которая должна была быть выплачена им Россией в согласии с брестским договором. С нашей стороны в этих переговорах участвовали Красин, Меньжинский, Ларин и Сокольников. Переговоры велись к этому времени уже недели три. Поэтому я, под предлогом, что мне пред-

стоит большая и срочная работа по приведению в порядок дел посольства, что должно было потребовать массу времени, тем более, что тут же Иоффе предложил мне принять на себя и обязанности управляющего делами и хозяйственной частью, – просил меня освободить пока от этого дела, с которым я не был знаком и ознакомление с которым потребовало бы не мало времени... Главное же было то, что я не сочувствовал этому делу...

Тут же в этот визит мне было указано помещение для меня с женой. Мне пришлось удовлетвориться комнатами в третьем этаже, заднего флигеля, так как все лучшие помещения были разобраны ранее приехавшими товарищами, я же ни за что не хотел своей особой вносить необходимость перемещений, переселений и пр.

Скажу кстати, что, как это выяснилось уже окончательно впоследствии, заселение дома посольства происходило в полном беспорядке или, вернее, как бы в порядке нашествия. Каждый занимал помещение, которое ему нравилось, втаскивая в него наперебой отнимаемую друг у друга мебель, путая всякие стили и эпохи, разрознивая целые гарнитуры художественных ансамблей... Как известно, русское посольство на Унтерденлинден представляет собою дворец, принадлежавший некогда, если не ошибаюсь, курфюрсту, и проданный им России. Дом был наполнен редкой чисто музейной мебелью, драгоценными коврами, историческими гобеленами, картинами мастеров... И всё это растаскивалось охочими товарищами по своим комнатам. Об истинной ценности этих предметов они не имели никакого представления, и обращение с ними, с этими сокровищами, представлявшими собою достояние русского народа, было самое варварское. Для примера упомяну, что при первом же обходе я в помещении одного семейного товарища (увы, глубоко интеллигентного) увидел комод редкой красоты, выдержанного стиля «буль», из красного дерева с художественной инкрустацией. И весь верх его был исцарапан. Оказалось, как мне сказала жена сотрудника, которому было отведено это помещение, она употребляла этот комод в качестве кухонного стола! И на этой же полированной доске комода на видном месте чернело безобразное пятно в форме утюга, выжженное ими... Редкие, высокой ценности ковры резались и делились на части для подгонки их под потребности помещения того или иного жильца...

Таковы были мои первые беглые впечатления от посольства и его обитателей.

– Ну, что ты хочешь от «товарищей», – говорил мне Красин в тот же день, когда мы остались с ним вдвоём и могли без свидетелей обменяться впечатлениями. – Что им гобелены, что им музейные комоды «буль»?!. Им это нипочём, как нипочём и сама Россия...

– Но, знаешь ли, больно глядеть, – отвечал я.

– Конечно, что говорить, – соглашался Красин. – Только на этом не стоит останавливаться и крушить голову... Всё это преходяще... Ничего не поделаешь – революция, война... Надо принимать вещи таковыми, каковы они есть... Будем со всем этим бороться...

В этот же первый день я со скорбным чувством возвратился к себе в отель. На душе было как то смутно. Я видел, что предстоит тяжёлая борьба со всеми этими Сайрио, ничего не знающими, ничего не понимающими, которые торопились уже использовать своё положение для устройства самих себя, сообразно своему представлению о комфорте папуаса.

II

Таким образом, началась моя служба в Берлине в советском посольстве.

С первого же дня моего прибытия в Берлин я вступил в дела, а через несколько дней переехал в здание посольства. В нижнем этаже посольства мне был отведён громадный роскошный кабинет с окнами на Унтерденлинден. Потом я узнал, что до меня этот кабинет занимали Якубович и Лоренц и что они были очень недовольны распоряжением Иоффе уступить мне его и ворчали, перебираясь в другое помещение. Отмечу тут же, чтобы уже не возвращаться к этому, что оба эти товарища очень неохотно мне подчинились, всячески уклоняясь от

исполнения моих поручений и просьб и всегда стараясь найти этому какие-нибудь неотложные причины, то один из них или оба должны идти к прямому проводу для переговоров с Москвой, то у того или другого имеется срочное поручение от Иоффе или «личного секретаря посла»...

Оба они были совершенно незнакомы с рутинной ведением дел, учиться ничему не желали, предпочитая болтаться около прямого провода или бегать по разным малозначащим делам в министерство иностранных дел. Так что для меня сразу стало ясным, что на них мне не приходится много рассчитывать.

Как я отметил в первой главе, моё первоначальное ознакомление с состоянием дел посольства произвело на меня весьма неблагоприятное впечатление. Всюду царила анархия, которая всё резче и резче выступала на вид по мере того, как я входил в дела. Отнюдь не желая вдаваться во все мелочи канцелярского быта, я всё-таки должен остановиться на этом моменте, так как, по существу, это явление было и остаётся до сих пор типичным для советского строя и объясняет, почему повсюду во всех советских учреждениях и в России и за границей мы встречаем крайне разбухшие, совершенно несоответствующие истинной потребности, бюрократические аппараты: массы служащих, которые бестолково, не зная дела, суетятся и что-то работают, что-то путают, к ним в помощь для распутывания назначаются другие, которые тоже путают, и так до бесконечности...

Как оно и понятно, начав подробное ознакомление с делами, я прежде всего старался выяснить, что представляет собою касса, какие там, в конце концов, имеются порядки, вернее, беспорядки. На другой же день после моего первого посещения посольства я обратился к Иоффе с полушутливым вопросом, могу ли я, забыв о револьвере, о котором напомнил товарищ Сайрио, выяснить положение кассы и дать ему надлежащие указания.

– Смело, Георгий Александрович, – ответил Иоффе с улыбкой. – Я уже говорил с товарищем Сайрио, указал ему на то, что вы старый товарищ, и он согласился с тем, что вы имеете право знать, что делается в кассе?

– Да... это очень хорошо, Адольф Абрамович, – ответил я, – но право, как-то странно, что приходится перед ним расшаркиваться для того, чтобы убедить его в том, что, казалось бы, не требует доказательств...

– Конечно, с непривычки это действительно странно, – согласился Иоффе, – но имейте в виду, что Сайрио латышский революционер из породы старых лесных братьев... Они все, конечно, немного диковаты... Надо, как верно сказал Леонид Борисович, применить к нему педагогические приёмы...

После этого объяснения я пригласил к себе Сайрио. Хотя лицо его выражало всё то же непреодолимое и тупое упрямство, но беседа с ним Иоффе, по-видимому, оказала на него некоторое влияние, и он держал себя менее самоуверенно. Я усадил его и обратился к нему с маленькой, элементарно построенной речью, в которой старался ему выяснить, чего я от него требую, как от товарища, занимающего столь ответственный в посольстве пост. Я говорил дипломатически, упирая на то, что такую должность и можно было доверить только такому старому и испытанному товарищу, как он, потому что как, дескать, мне и говорил товарищ Иоффе, имеются всякие конспиративные расходы и пр. В результате он немного отмяк и сам предложил мне направиться к кассе.

Надо отметить, что Иоффе, чувствуя, что вообще советское посольство как-то непрочно сидит в Германии, что, в сущности, было верно, считал нужным иметь все денежные средства всегда под рукой, чтобы в случае чего, можно было ими немедленно располагать. А потому он хранил все деньги в тяжёлой стальной кассе, стоявшей в отдельной комнате в посольстве, не прибегая к банкам...

Это обстоятельство вносило, чисто психологически, тоже известную путаницу, нервную спешность и пр. И не могло не влиять на Сайрио, вносило в него какое-то бивуачное настроение, настороженность и торопливость... Замечу кстати, что это ощущение непрочности вла-

дело всеми в посольстве. Ежедневно циркулировали всевозможные, неведомо кем распускаемые слухи, часто слышалось выражение: «придётся собирать чемоданы» и пр... Все себя чувствовали точно на какой-то станции, многие даже продолжали хранить свои вещи в чемоданах – не весте убо дне и часа...

Я сразу же поставил наши объяснения с Сайрио на почву известной незыблемости и трактовал все вопросы под углом организации дела напостоянно, а не в порядке какой-то паники, под углом «аллегро удирато»... мне кажется, что мне удалось успокоить этого упрямого латыша, и он начал улыбаться. Когда же я после объяснения подошёл к проверке порядка выдачи и приёма кассой денег, то мне не трудно было убедиться, что это был настоящий хаос.

– Ну, объясните мне, товарищ Сайрио, – сказал я, как, по каким требованиям вы выплачиваете те или иные суммы?

Сайрио открыл кассу и обратил моё внимание на то, что кредитки хранятся обандероленные, так что, пояснил он, в случае чего, можно в одну минуту сложить их в чемодан. В кассе находилось всего в разных валютах денег на три-четыре миллиона германских марок. Затем он предъявил мне и оправдательные документы... Это было собрание разного рода записок, набросанных наспех разными лицами. Приведу на память несколько текстов этих своеобразных «ордеров»:

«Товарищу Сайрио. Выдайте подателю сего (ни имени лица получающего, ни причины выдачи, ни времени не указано) такую то сумму. А. Иоффе»; «Товарищу Сайрио. Прошу отпустить с товарищем Таней (горничная посла) такую то сумму. Личный секретарь посла М. Гиршфельд»; «Товарищ Сайриу, прошу принести мне тысячу марок. Мне очень нужно. Берта Иоффе (жена Иоффе)». Такого же рода записки попадались и за подписью обоих секретарей. Было тут много оплаченных счетов от разных шляпных и модных фирм, часто на очень солидные суммы, выписанных на имя М.М. Гиршфельд, жены Иоффе и других лиц, снабжённых подписью: «Прошу товарища Сайрио уплатить. М. Гиршфельд... А. Иоффе... Б. Иоффе...» Были даже счета от манежа за столько-то часов тренировки, за столько-то часов за отпущенных лошадей на имя М.М. Гиршфельд (она училась верховой езде). Словом, было очевидно, что на посольскую кассу смотрели, как на свой личный кошелек, из которого можно брать безотчётно, сколько угодно... Разумеется, я ничего не сказал Сайрио, когда он, предъявив мне эти «документы», ещё раз торжествующе подтвердил, что всё у него в полном порядке. Да ведь по правде сказать, товарищ Сайрио, конечно, убогий и упрямый, но лично совершенно честный (как я в этом убедился вполне), и был, в сущности, прав: он платил все эти, часто весьма значительные суммы, по распоряжению своего начальства или вообще лиц, на то уполномоченных. И, само собою разумеется, все эти «документы» не носили никаких следов того, что они были проведены через бухгалтера посольства...

Мне пришлось – не буду приводить здесь этих трафаретных указаний – убеждать Сайрио, что все документы, как приходные, так и расходные, должны, прежде исполнения по ним тех или иных операций, проводиться через бухгалтерию, что бухгалтер должен их контрассигнировать и пр. Тут снова мне пришлось выдержать бурную сцену.

– Как?! – раздражённо ответил мне кассир. – Это значит, что она (бухгалтершей была женщина, очень слабо знакомая с азбукой своего дела) будет мне разрешать и приказывать... Ни за что!.. Я не согласен... я не позволю!.. Она мне не начальство...

Выяснения, убеждения, доказательства, примеры – ничего не действовало. Латыш твердил своё, свирепо вращая своими, полными злобы, глазами. И вот, среди этих пояснений, забыв, что я имею дело с человеком почти первобытным, я в пылу доказательств произнёс фразу, которая ещё больше сгустила над нами тучи:

– Да поймите же, товарищ Сайрио, что здесь нет и тени сомнения в вашей честности. Ведь речь идёт только о том, чтобы ввести порядок, – порядок, признанный во всех обществен-

ных учреждениях... Одним словом, моя цель – поставить правильно действующий бюрократический аппарат...

О, сколько нелепостей вызвало слово «бюрократический». Кассир вдруг вскочил, с ужасом, точно прозрев, взглянул на меня диким взором и, хромая своей когда то простреленной ногой, затоптался на месте волчком.

– Как?.. Что вы сказали?!.. – полным негодования тоном спросил он.

Я повторил.

– Ага! Вот что!.. – злорадно торжествуя заговорил он. – «Бюрократический», – повторил он, – вот что... Так мы, товарищ Соломон, бились с царским правительством, рисковали нашей жизнью, чтобы сломать бюрократию... Теперь я понимаю... А, я сразу это заметил... вы бюрократ... да, бюрократ!.. и мы с вами не товарищи... нет!.. Я пойду к товарищу Иоффе... я с бюрократами не хочу работать!..

Он быстро захлопнул кассу и, сердито ковыляя мимо меня, побежал наверх....

И мы с Иоффе, при участии подошедшего на эту сцену Красина, битых два часа толковали с Сайрио, выясняя ему истинный смысл слова «бюрократический»... Он подчинился, но, конечно, мы не могли его переубедить, и он остался при своём мнении и всем и каждому жаловался на меня, называя меня «бюрократом». Особенно успешны были его жалобы в глазах таких же, как он, латышей, в большом количестве находившихся при посольстве в качестве красноармейцев, командированных в Берлин для охраны посольства от контрреволюционеров и несших другие обязанности. Эти латыши при встречах со мной мрачно и враждебно глядели на меня исподлобья...

Я остановился на этой сцене с исключительной целью дать читателю представление об уровне того понимания, с которым приходилось считаться в посольстве при попытке ввести в его дела порядок. И вот, с большим трудом, спотыкаясь всё время о целую сеть подобного рода недоразумений и тратя массу времени для ликвидации их, я вёл дело реформы кассы и бухгалтерии. В конце концов, я выработал целое положение о кассе, бухгалтерии, их взаимоотношении и пр. Заказал разного рода печатные формуляры в виде ордеров, приходных и расходных, и т. д., словом, наметил те порядки, которые должны иметь место во всяком общественном или казённом учреждении... Но, увы, эти положения и порядки вызвали новый ряд недоразумений и нападков на меня, но уже со стороны не Сайрио, а в «сферах» более высоких. Конечно, о всех предполагаемых мною нововведениях я часто беседовал с Иоффе, а пока был в Берлине Красин и с ним, намечая чисто общие положения вводимых порядков. Красин, хорошо понимавший дело, конечно, меня усиленно поддерживал. Иоффе же, по образованию врач, учившийся в Германии, был действительно чужд всякого понимания постановки дела, а потому искренно говорил, что плохо разбирается во всём этом, но, раз это нужно, он не возражает и предоставляет мне установить все необходимые порядки по моему усмотрению, несколько раз повторяя, что даёт мне полную «карт бланш».

Но у меня произошло с ним довольно тяжёлое объяснение по поводу тех порядков, которые царили в кассе по вопросу платёжных документов, о чём я выше говорил. Я, конечно, не мог допустить, чтобы люди безответственные, как личный секретарь (должность совершенно непредусмотренная), жена посла и пр., имели право давать кассе распоряжения об уплате тех или иных сумм. Но, как читатель понимает, вопрос этот был довольно деликатен. И меня немало озабочивало, как говорить с Иоффе о том, что эти лица не могут и не должны иметь права давать кассе распоряжение об уплате и выписке в расход... Ведь Иоффе был только товарищ, никогда никаких дел практических не ведший и не имевший о них никакого представления. А тут нужно было коснуться людей, так или иначе, ему близких (со своей первой женой Иоффе вскоре разошёлся и женился на М.М. Гиршфельд, которая сама, очевидно, по неопытности и юности подчёркивала свои отношения с Иоффе. – **Автор.**), что могло быть ему неприятно и что могло в конце концов внести ненужные и неинтересные мне осложнения

в наших чисто деловых с ним отношениях. Поэтому, прежде чем говорить обо всём этом с самим Иоффе, я предварительно переговорил с Красиным, близко и хорошо знавшим Иоффе, прося его дать мне совет, как быть. Красин, как и я, был очень неприятно поражён всеми этими «документами», причём, так как в них было немало и комичного, мы с ним пошутили и посмеялись на эту тему. В конце концов Красин сам предложил мне пойти вместе со мной к Иоффе и помочь мне в деликатной форме, не задевая самолюбия, выяснить дело.

Придя к Иоффе, я рассказал ему о первых моих наблюдениях и в мягкой форме обратил его внимание на неудобство того, что разные люди выдают кассиру распоряжения об оплате счетов, притом счетов частного порядка, не служебного, а также распоряжения об отпуске им тех или иных сумм... Как ни мягко было сказано, тем не менее Иоффе это не понравилось, но, как человек умный, он поторопился заявить мне, что, собственно, и ему, при всём его незнакомстве с порядками ведения дел в учреждениях, казалось, что это не ладно, но, что, не зная, что именно надо сделать, он, в виду состоявшегося приглашения меня, решил: «подождем товарища Соломона, – он приедет, во всём разберётся и установит необходимые правила...» Поэтому-де он готов во всём последовать моим указаниям... Затем он прибавил, что все, находящиеся в кассе суммы отпущены и отпускаются лично ему в его полное распоряжение... Мы обратили его внимание на то, что в посольстве уже имеется требование Комиссариата Иностранных Дел о составлении и представлении отчёта об израсходованных за три месяца сумм, что малоопытный бухгалтер составил этот отчёт в совершенно неприемлемом виде, так что в нём невозможно разобраться, и что, во всяком случае, нельзя проводить по этому отчёту такие расходы, как на шляпы для его жены или личного секретаря, на манеж и пр.

Он согласился с этим и заявил, что принимает все эти расходы на свой личный счёт. Я тут же передал ему все эти «документы» (вышла довольно внушительная сумма) и он, взамен их, составил на ту же сумму квитанцию, в которой стояло, что им лично за такой-то период на разные нужды безотчётно израсходовано столько-то.

Но, конечно, как ни деликатно я говорил с ним, у него остался известный неприятный осадок по отношению ко мне... Да по правде сказать, и у меня к нему также... Как-бы то ни было, но тут же на этом свидании по его предложению было решено, что впредь деньги будут выдаваться кассой по ордерам, подписываемым только одним из нас, им или мною. Мне, признаться, не очень то хотелось иметь это право подписи, но по деловым соображениям я не имел основания отказываться и должен был согласиться...

И вот, выработав упомянутые выше правила о кассе и бухгалтерии, хотя, повторяю, всё было уже согласовано нами путём постоянных бесед и докладов, я передал их послу, т. е. Иоффе, на утверждение.

Прошло два-три дня. От Иоффе мои положения не возвращались. Я не считал удобным напоминать. Но с момента, когда я передал ему эти проекты, в отношении ко мне личного секретаря наступило резкое изменение. Совершенно игнорируя меня, Марья Михайловна всё время обращалась к Якубовичу и Лоренцу... Пошли какие-то перешёптывания, что-то поползло тягучее и липкое и противное... Я делал вид, что ничего не замечаю.

Но вот как-то, войдя ко мне и передавая мне какие-то бумаги от Иоффе, Марья Михайловна вдруг спросила меня:

– Вы, кажется, находите, Георгий Александрович, что должность личного секретаря совершенно лишняя?

Этот вопрос меня, конечно, очень удивил, ибо никогда я никому своих мнений по этому поводу не высказывал.

– Я? – спросил я. – Откуда вы это взяли?

– Так... мне кажется, по крайней мере, – ответила она и быстро вышла из моего кабинета.

В тот же день, вскоре после этого разговора, ко мне пришёл Иоффе и принёс мне мои положения. Вид у него был смущённый и точно забитый.

– Вот, Георгий Александрович, – начал он каким-то неуверенным голосом, – я ознакомился внимательно с вашими положениями... Но поговорим откровенно... Видите ли... как сказать... здесь имеются некоторые ляпсусы... которые я и заполнил... Надеюсь, вы ничего против этого не имеете.

– Конечно, нет, Адольф Абрамович, – поспешил я ответить. – Ведь вы же, как глава посольства, должны утвердить эти положения.

– Гм... да... так, – запинаясь и, видимо, чувствуя себя не в своей тарелке, продолжал он. – Дело, собственно, не в этом...

И вдруг, отложив мои положения, он обратился ко мне с какой-то сердечной ноткой в голосе:

– Скажите мне откровенно, Георгий Александрович, что вы имеете против Марьи Михайловны?

– Я? Против Марьи Михайловны?... Да абсолютно. ничего...

– Видите ли... и у неё, и у меня создалось такое впечатление, что вы бойкотируете её... Вот и ваши положения это доказывают...

– Мои положения? – недоумевая всё больше и больше, спросил я его. – Да ведь это чисто официальные документы... о кассе и пр. Какое же отношение это имеет к Марье Михайловне?..

– Да вот в том и дело, что вы совершенно игнорируете в них моего личного секретаря, то есть, Марью Михайловну. Ведь и ей тоже должно быть предоставлено право выдавать распоряжение на отпуск денег и т. д...

Словом всё положение было снабжено дополнениями и вставками, сделанными самим Иоффе. Смысл их был таков, что, кроме Иоффе и меня, и М.М. Гиршфельд пользуется теми же правами. Таким образом, всюду, где в моём положении стояло: «по подписи посла или первого секретаря посольства», Иоффе вставил «или личного секретаря посла».

Передав все эти исправленные положения, он торопливо ушёл... Пришлось считаться с волей посла...

И кругом создалась атмосфера интриг, постепенно насыщавшая собою всё. Часто происходили какие-то разговоры Марьи Михайловны с Якубовичем и Лоренцем, смолкавшие при моём появлении. Красина к этому времени уже не было в Берлине, он уехал в Россию, и мне не с кем было посоветоваться о том, как реагировать на всю эту нелепость... Скажу кстати, что с этих пор мои отношения с Иоффе навсегда остались натянутыми... впрочем до последней с ним встречи в Ревеле, о чём ниже...

Наряду с работой по приведению в порядок вопросов кассы и отчётности, мне пришлось проделать и работу по реформированию системы хранения бумаг и их регистрации.

Приходится опять отметить, что и это дело вызвало тоже целую бучу нового недовольства и сильнее сгустило враждебную мне атмосферу. Как я и говорил выше, всё делопроизводство хранилось в полном беспорядке; так что для подбора переписки по какому-нибудь вопросу требовалось иногда несколько дней. Все принимались искать, все метались из стороны в сторону, бегали друг к другу с вопросами «не у вас ли такая-то бумага?» Если требование исходило от Иоффе, он, естественно, нервничал, торопил, сердился, призывал того или другого сотрудника, делал разносы, угрожал... Служащие ещё больше дурели, ещё беспорядочнее кидались из стороны в сторону, обвиняя друг друга, что, дескать, нужные бумаги «были вами взяты», ссорились, женский персонал плакал... И во всё вмешивалась М.М. Гиршфельд, кричала, понукала, лезла ко всем с указаниями, всем и всякому напоминала, что она личный секретарь посла, угрожала именем Иоффе, путала... Словом, каждые поиски сопровождались истерикой... и тянулось это иногда несколько дней, и в результате оказывалось, что такая-то бумага или бумаги были сунуты в карман кем-либо из сотрудников или унесены им в свою комнату...

Я решил положить этому конец и, прекратив на два-три дня обычное течение дел канцелярии, потребовал, чтобы все силы были употреблены на разбор бумаг, их классификацию по отдельным вопросам, и ввёл карточную систему регистрации... Я имел дело с людьми совершенно непонимающими и мне, первому секретарю посольства, приходилось самому возиться с бумагами, отвечать на целую сеть азбучных вопросов, обуславливаемых колоссальным непониманием лиц их задавших. Приходилось для установления связи в той или иной переписке самому разыскивать недостающие бумаги и документы, приходилось выяснять, кем они были взяты «последний раз» и происходили розыски по жилым комнатам, по столам...

Но вот, в два-три дня эта бумажная реформа была закончена: бумаги лежали в порядке (все или почти все), оставалось только следовать этому порядку и дальше не путать... Однако, и тут опять-таки началась склока: чтобы доказать, что мои меры плохи, мне сознательно ставили палки в колёса, а то и просто, без злого умысла, по небрежности и по чувству полной неответственности, путали, клали бумаги не туда, вписывали не в те карты... И наряду с этим шли обвинения меня, что вот, мол, какова новая система, вот, какая новая путаница, и всё мол, оттого, что я преследую «бюрократические задачи»... Пусть читатель представить себе, что значило это нелепое, чисто безграмотное обвинение в «бюрократизме», и сколько крови было мне испорчено. Не обошлось, конечно без новых атак со стороны личного секретаря, путавшегося во все и вся. Были сотрудницы и приятельницы, которые тоже находились в привилегированном положении и которые интимно нашептывали ей разные разности, сплетничали и клеветали. А М.М. всё это передавала Иоффе со своими оттенками. Тот, сильно занятый своими сложными делами, раздражался, старался отмахнуться от наветов своего личного секретаря... Но это было трудно, ибо М.М. отличалась большим упорством и настойчивостью и зудила его, пока он окончательно не выходил из себя и, не имя мужества отделаться от настойчивости М.М., шёл по линии наименьшего сопротивления и обрушивался на какого-нибудь второстепенного сотрудника или же обращался с упрёками (правда, в очень мягкой форме) ко мне и, тоже со слов М.М. и других шептунов, упрекал меня в излишнем увлечении бюрократической системой. Приходилось выяснять. Правда, все мои пояснения всегда имели успех, но, Боже, сколько времени и сил требовала эта ежедневная склока? К тому же, как это стало известно из рассказов приезжих из России, у самого Чичерина, сменившего Троцкого на посту наркоминдела, тоже царил бумажный хаос: он держал всю переписку у себя в кабинете в одном углу, прямо на полу, забитом беспорядочно спутанными бумагами, в которых никто не мог разобраться и в розысках которых сам Чичерин принимал деятельное участие вместе со своими четырьмя секретарями. И у него тоже эти розыски требовали подчас несколько дней. И вот это то и ставили мне на вид мои сотрудники.

Но, наконец, мне немного повезло: жена Меньжинского, Мария Николаевна, умная и образованная женщина, вступила в канцелярию и взяла на себя заведыванье регистрацией. И она стала строго следовать установленным порядкам. И я, хоть в этом отношении, с облегчением вздохнул.

III

Выше я изобразил те, мягко выражаясь, трения, которыми сопровождалось мои нововведения. И, конечно, у читателя может зародиться вопрос, – да чем же это объясняется? Само собою, объяснения этому следует искать в личном составе, в порядке его набора.

Посольство прибыло из России. Во главе его стоял Иоффе. При нём были его жена и дочь – подросток, лет тринадцати. И, кроме того – личный секретарь посла Марья Михайловна Гирифельд. Человек уже лет около сорока, Иоффе отличался очень мягким и, в сущности, безобидным характером. Но у него была своя тяжёлая семейная драма, о которой я упоминаю лишь постольку, поскольку созданная ею коллизия отражалась на его высоком положе-

нии посла. Легко поддаваясь постороннему влиянию, Иоффе не мог сам разобраться в своих интимных делах и сделать тот или иной решительный шаг. А потому и немудрено, что молоденькая девушка, в сущности и неумная и совсем мало образованная, да к тому же и крайне бестактная, но требовательная и напористая, оказалась влиятельным лицом в посольстве, неся скромную должность личного секретаря посла. Таким образом Иоффе всё время вращался между двух огней: с одной стороны была его семья, жена и дочь, которую он очень любил, с другой – его секретарь. Отсюда вечные внутри его трения, вечная нервность и настороженность, что не могло, конечно, не отражаться и на делах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.